

В БОРЬБЕ С РЕАКЦИЕЙ

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ «НАШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ»
ЩЕДРИНА (1864 г.)

Статья С. А. Макашина
Публикация В. Э. Бограда

Летом 1862 г., несколько оправившись после испуга и растерянности, вызванных революционным натиском 1859—1861 гг., правительство Александра II обрушило на участников движения и на поддерживавшие их демократические силы ряд ударов. Тяжелейшими из них были: арест Чернышевского и восьмимесячная приостановка «Современника». Именно в это тревожное и тяжелое время Салтыков вошел в редакцию опального журнала, с арестом Чернышевского потерявшего своего идейного руководителя.

После возобновления «Современника» — с января 1863 г. Салтыков начал в нем свою литературную работу, беспрецедентную по энергии бичевания реакции. Центральное место в этой работе заняла публицистика, а вершиной ее явился цикл статей под названием «Наша общественная жизнь». Русская литература не знает произведения, в котором с большей полнотой отразились бы кардинальные вопросы переломного момента в истории «шестидесятых годов» — момента поворота правительства и общества к реакции.

Неудивительно, что щедринские хроники-обозрения сразу же привлекли к себе пристальное внимание читателей и заняли в ту пору видное место в идейной жизни русского общества. Об этом не раз писали современники. Приведем одно из таких свидетельств, тем более выразительное, что оно исходит от представителя враждебного Щедриному лагеря, от «почвеннического» философа Н. Н. Страхова. В октябрьском номере журнала «Эпоха» за 1864 г. Страхов писал: «Если кто читался из петербургских писателей и публицистов, так это именно г. Щедрин. Два-три печатных листа его регулярно появлялись в „Современнике“, напечатанные крупно, под веским заглавием: „Наша общественная жизнь“ <...> Щедринские фельетоны имели в тот достопамятный год <1863> величайший успех...».

Однако очень скоро «Наша общественная жизнь» оказалась забытой и читателями, и критикой. В этом был повинен, прежде всего, сам Салтыков, проявивший на первый взгляд непонятное безразличие к судьбе своего *крупнейшего* публицистического труда: за исключением отдельных вставных новелл, он никогда не перепечатывал статей этого цикла и не ввел их в собрание своих сочинений, состав которого определил незадолго до смерти. Почему? Потому ли, что в его представлении «хроники» были слишком злободневны, слишком глубоко погружены в политический быт эпохи? Вероятно — да, вероятно, именно это было главным мотивом, заставившим Салтыкова отказаться от переиздания «Нашей общественной жизни», занимающей в его литературном наследии особое место: ведь никогда впоследствии Салтыков не выступал в такой прямой публицистической роли (раньше же выступил лишь эпизодически: с газетными статьями по крестьянскому делу в 1861 г.).

Определенность общественной тенденции, конкретность политической цели, которых не могли скрыть самые, казалось бы, непроницаемые иносказания эзопова

языка, полемическая заостренность и резкость, плотная сращенность художественных и философско-исторических обобщений с преходящими явлениями дня — все эти и многие другие особенности щедринских «хроник», ставивших своей задачей не только уловить в круговороте текущих событий «господствующую ноту», но и активно воздействовать на «историю современности», неизбежно потребовали бы при переиздании «хроник» внесения в их текст многих изменений и корректирующих «комментариев». Отнестись же к своему труду как к чисто историческому документу Салтыков, разумеется, не мог даже и через двадцать лет.

Необходимо, однако, указать и на другое важное обстоятельство, со своей стороны, побуждавшее Салтыкова оставить «Нашу общественную жизнь» в первичной публикации («Современника»). Дело в том, что, глубоко продумывая композицию своих циклов, он придавал большое значение их завершенности, внутренней последовательности и единству. Он настойчиво повторял, что вне общей идеи и порядка цикла или сборника содержание входящих в них отдельных рассказов, очерков или статей не может быть до конца понято. Поэтому, когда цикл оказывался незаконченным или разрушенным цензурой, Салтыков часто предпочитал жертвовать им целиком, чем вводить в свои сочинения фрагменты незавершенных замыслов или сильно покалеченной работы.

Такова была судьба многих щедринских очерков, рассказов и статей из распавшихся или незавершенных циклов. Не избежала этой участи и «Наша общественная жизнь». Этот боевой «шестидесятилетичский» цикл оказался в числе тех произведений Салтыкова, которые подверглись наиболее разрушительным ударам цензуры. Кроме того, есть основание предполагать, что авторские намерения и планы в отношении некоторых статей из цикла «Наша общественная жизнь» были существенно стеснены в результате внутриредакционных споров — вмешательства Пыпина, Антоновича и Елисеева, «духовной консистории», как называл эту группу Салтыков. Так или иначе, печатание статей «Наша общественная жизнь» оборвалось по независящим от автора причинам на «мартовской хронике», то есть «хронике», появившейся в мартовской книжке «Современника» 1864 г. Попытки Салтыкова возобновить свои «хроники» оказались безрезультатными. С одной из таких попыток и связан публикуемый здесь новый салтыковский текст.

Цензурная история «Нашей общественной жизни» полностью еще не восстановлена. Остается неизученным и ряд других проблем, связанных с этим произведением. Так, неясна картина внутриредакционных споров, возникавших вокруг некоторых статей. Нет убедительности в предложенных исследователями датировках тех материалов, которые были заготовлены Салтыковым для «Нашей общественной жизни», но в печати не появились; нет, значит, ясности и в вопросе о месте этих материалов в общей композиции цикла. Нет ответа и на вопрос, когда именно Салтыков прекратил свою борьбу за продолжение цикла, а тем самым и работу над ним. Наконец, не уславлено, сколько же было таких не увидевших света «хроник» и какова их дальнейшая судьба.

Изучение публикуемого документа позволяет приблизиться к решению некоторых из этих вопросов.

* * *

О том, что текстовый фонд «Нашей общественной жизни» был значительно обширнее того, что было опубликовано в «Современнике», стало впервые известно из материалов «щедринских томов» «Литературного наследства», вышедших в 1933—1934 гг. (тома 11-12 и 13-14). В них были напечатаны две не известные ранее «хроники» — одна по рукописи, другая по корректуре. Теперь мы имеем возможность напечатать в нашем издании третью «хронику» или, по меньшей мере, крупный фрагмент ее. Настоящая публикация возвращает «Нашей общественной жизни» принадлежавшие ей страницы, полные глубокого интереса. В этом обогащении важнейшего публицистического труда Щедрина — главное значение настоящей публикации. Вместе с тем изучение нового документа позволяет, как сказано, уточнить некоторые сведения и о других,

уже известных «хрониках» и тем самым расширить существующие знания обо всем цикле «Наша общественная жизнь».

Источником текста настоящей публикации являются корректурные гранки «Современника» (две «формы»), найденные В. Э. Боградом в той части бумаг А. Н. Пыпина, которые хранятся в Архиве Академии наук в Ленинграде (ф. 111, ед. хр. 174). Гранки не имеют никаких следов авторской или редакторской правки. Внизу каждой из гранок типографским способом отгиснуты цифры «4» и «5». На полях нет ни подписей, ни пометок, за исключением заглавия — «Наша общественная жизнь», — написанного на первой гранке чернилами рукой неустановленного лица.

Датировка документа не представляет затруднений. В заключительном разделе вновь найденного текста Салтыков полемизирует со статьями г. Касьянова (псевдоним Ив. Аксакова) и Самарина в № 15 и 16 славянофильской газеты «День», а также со статьей Каткова о «факультативной цензуре» в № 85 «Московских ведомостей». Речь идет о номерах «Дня» от 11 и 16 апреля 1864 г. и о номере «Московских ведомостей» от 15 апреля того же года.

Таким образом, статья Салтыкова не могла быть написана ранее 16 апреля 1864 г.

Вторая крайняя дата определяется с такой же бесспорностью. В майском номере «Современника» 1864 г. Салтыков напечатал статью «Литературные мелочи». В нее включена полемика с Ив. Аксаковым, текст которой совпадает с упомянутым заключительным разделом вновь найденной «хроники» — взят из него (VI, 460—473). В бумагах Пыпина, в той их части, которая находится в Пушкинском доме, сохранились гранки первоначальной редакции статьи «Литературные мелочи» (в корректуре статья называется несколько иначе: «Наши литературные мелочи»). На гранках поставлена дата: «29 апреля <1864 г.>» («Лит. наследство», т. 11-12, 1933, стр. 96). Таким образом, к этому числу Салтыков не только закончил работу над «хроникой», но и, убедившись в том, что она не будет напечатана, перенес часть текста в другую статью — в «Литературные мелочи».

Итак, публикуемый текст возник между 16 и 29 апреля 1864 г.

Что касается места найденной статьи в цикле «Наша общественная жизнь», композиция которого складывалась из ежемесячных «хроник», то, как будет показано ниже, оно устанавливается лишь предположительно.

Печатание цикла оборвалось на «мартовской хронике» 1864 г.; следующая, «апрельская хроника» была написана и набрана, но запрещена цензурой. Факт цензурного изъятия документируется записью в типографском счете за набор четвертого номера «Современника». Здесь имеется рубрика: «Цензурой запрещено». В рубрике назван ряд статей и среди них «Наша общественная жизнь» с обозначением объема изъятых текста: « $1\frac{5}{8}$ листа» (В. Е в г е н ь е в - М а к с и м о в. Последние годы «Современника». 1863—1866. Л., 1939, стр. 83). В соответствующем пересчете с печатного листа «Современника» это равняется примерно полуторам авторским листам.

Что же это за текст? Известен ли он?

Казалось бы, нет сомнений, что речь может идти только о вновь найденном материале. Сохранившиеся в «пыпинских бумагах» гранки содержат текст, написанный хотя и во второй половине апреля, но еще до окончания редакционной и типографской работы над опаздывавшей апрельской книжкой журнала (цензурное разрешение было получено лишь 11 мая). А Салтыков часто писал свои публицистические статьи в самые последние дни перед отправкой в типографию рукописей для очередной книжки журнала.

Однако при ближайшем рассмотрении вопрос осложняется и теряет свою кажущуюся ясность.

Во-первых. Объем найденного корректурного текста (немногим более трех четвертей листа) не соответствует тому, который указан в счете за набор текста, изъятых в корректуре (полтора листа, то есть вдвое больше).

Во-вторых. Как упомянуто выше, в 1933 г. в т. 11-12 «Литературного наследства» (стр. 185—200) была опубликована также по корректурным гранкам (три «формы») из бумаг Пыпина, хранящихся в Пушкинском доме, статья, открывавшаяся словами: «Начну с того самого пункта...». Включая статью в Полное собрание

сочинений Щедрина, редактор шестого тома С. Л. Белевицкий определил ее, как «апрельскую хроникку» (VI, 565). Вывод этот был сделан из сопоставления предпоследнего абзаца «мартовской хроники», где речь шла о «ненависти своими боками», с вводными фразами статьи, опубликованной в «Литературном наследстве»: «Начну с того самого пункта, на котором оставил свою хроникку в прошедший раз. Протестовать своими боками — дело очень нетрудное, но в то же время и совершенно невыгодное» (VI, 348).

Вывод, сделанный С. Л. Белевицким, представляется правильным и нам, хотя в аргументации исследователя имеется уязвимое место. Дело в том, что «мартовская хроника», в том виде, как она была напечатана в «Современнике», вовсе не заканчивалась рассуждениями на тему о «протесте своими боками». Эта тема действительно разрабатывалась в заключительной части «мартовской хроники», но лишь в ее первоначальной, доцензурной редакции, известной нам по корректурным гранкам, хранящимся в Литературном архиве в Москве (по этому источнику и опубликован текст в собрании сочинений Щедрина, а журнальный, изуродованный цензурой текст напечатан в разделе «Приложения»). Цензура гранки «мартовской хроники», цензор Еленев вычеркнул все окончание о «протесте своими боками» — около трех страниц формата «Современника». Вместо них Салтыков написал несколько заключительных слов, в которых, намекая на цензурное вмешательство, заявлял читателям, что он предпочитает отложить свою беседу с ними «до более удобного времени» («Современник», 1864, № 3, отд. II, стр. 62; ср. VI, 521).

Чтобы устранить возникшее противоречие, следует, по-видимому, предположить, что статья, которая считается сейчас «апрельской хроникой» («Начну с того самого пункта...»), не только была написана, но и набрана еще до вмешательства Еленева в «мартовскую хроникку», то есть до 17 марта (дата цензурного разрешения третьего номера). Допустима и другая догадка. Ссылка на уже не существующий, изъятый текст могла быть сознательно введена как сигнал для читателей, указывающий на то, что окончание «мартовской хроники» было первоначально иным и пострадало от цензуры.

В пользу того, что статья «Начну с того самого пункта...» предназначалась для апрельского номера, свидетельствует и время, когда она была написана. Оно устанавливается весьма точно: не ранее появления в печати статьи Писарева «Цветы невинного юмора», намек на которую содержится в конце салтыковской «хроники» («На днях, один из знаменитейших наших ерундистов упрекнул меня: вы, говорит, для глуповцев пишете, вы глуповский писатель!..») — и не позднее сохранившейся на корректуре пометы «17 апреля». Февральская книжка «Русского слова» со статьей Писарева вышла 17 марта; таким образом, статья «Начну с того самого пункта...» возникла между 17 марта и 17 апреля 1864 г., предназначалась, несомненно, для четвертого номера журнала, была набрана для него и затем запрещена цензурой.

В каком же отношении к этой изъятой «апрельской хроникке» («Начну с того самого пункта...») находится вновь найденный текст («Археологи свидетельствуют...»), также относящийся к апрелю 1864 г.?

Есть один чисто внешний признак, указывающий как будто бы на то, что это отношение двух непосредственно примыкающих друг к другу частей одной и той же статьи. Таким признаком является нумерация корректуры. На двух (из трех) гранках «апрельской хроники» («Начну с того самого пункта...») имеются оттиснутые в типографии цифры нумерации — «2» и «3». На вновь найденных — «4» и «5». Первая — в последовательности текста — гранка не нумерована; на ней имеется печатное заглавие — «Наша общественная жизнь» и надпись чернилами: «2 корректура апреля 17». То обстоятельство, что гранки находятся в двух разных отдельно хранящихся частях архива Пыпина, существенного значения не имеет: архив этот разъединился уже после смерти Пыпина.

Итак, если довериться выводу, подсказываемому нумерацией гранок, то вновь найденный текст следует определить, как вторую половину статьи «Начну с того самого пункта...» и считать, таким образом, что «апрельская хроника» 1864 г. лишь теперь воссоздана полностью.

Однако довериться этому выводу нельзя.

Напомним, что изъятая из «Современника» «апрельская хроника» заключала в себе, как показано в типографском счете, полтора авторских листа. Общий же размер салтыковских текстов «Начну с того самого пункта...» и «Археологи свидетельствуют...» почти вдвое больше: два и три четверти авторских листа. И главное: хотя между текстами существует тематическая близость и в содержании их имеются совпадающие элементы (рассуждения о «людях мысли страстной и пронизательной», упоминания об «адамитах», «купидонах», «цветовцах» и т. д.), каждый из них производит впечатлительное самостоятельное произведение. О литературной завершенности статьи «Археологи свидетельствуют...» говорит ее окончание, оформленное как своего рода постскриптум: «Еще одно слово...». Другой текст имеет заглавие, и его первая фраза — «Начну с того самого пункта, на котором оставил свою хроникку в прошедший раз» — не оставляет сомнения, что перед нами именно начало статьи. Вопрос о концовке не так ясен: ярко выраженного заключения в тексте нет. Впрочем, последний абзац, начинающийся со слова «Ибо», носит характер подведения итога статьи, и если не подкрепляет, то уж во всяком случае не противоречит высказанному суждению о законченности текста.

На пути к определению места новонайденного документа в творческой истории цикла имеются препятствия и другого рода. Чтобы представить их себе, необходимо вернуться к публикациям статей «Итак, история утешает...» и «Начну с того самого пункта...» в «Литературном наследстве» (т. 11-12, 1933) и затем в Полном собрании сочинений Щедрина (VI, 1941).

В сопровождавшей первичную публикацию текстологической справке редакции «Литературного наследства» было сказано: «Дата обеих статей — тематически близких и, возможно, представляющих одну *варианты одного замысла* — 1864 г.» (указ. изд., стр. 240. Подчеркнуто нами. — С. М.).

Формулировка о вариантах была нечеткой: она допускала ошибочный вывод, будто обнаружены не две самостоятельные разработки темы, а два источника одной и той же статьи, две редакции ее, из которых одна была по какой-то причине отброшена автором и заменена другой. В действительности же в бумагах Стасюлевича и в бумагах Пыпина были найдены две отдельные «хроники»: одна — посвященная теме «протеста своими боками» (корректурa), другая — связанной с нею теме «утешения историей» (автограф и корректурa). И этот ошибочный вывод, к сожалению, был сделан — сначала в исследовании Вас. В. Гишпиуса «Новые материалы по журнальной полемике Щедрина 1864 года», а затем в Полном собрании сочинений Щедрина. Вас. В. Гишпиус определил статьи как два «последовательных варианта» одной «хроники» (?), предназначенной для «майской книжки» (?) и являвшейся продолжением не дошедшей до нас (?) «апрельской хроники» («Лит. наследство», т. 11-12, стр. 96). Авторитетный исследователь допустил здесь ряд неточностей. Во-первых, он не опознал в статье «Начну с того пункта...» «апрельской хроники» и объявил эту хроникку «не дошедшей до нас»; во-вторых, бездоказательно отнес обе статьи к «майской хронике»; в-третьих, определил статьи как «последовательные варианты» этой «майской хроники».

Редактор шестого тома Полного собрания сочинений Щедрина С. Л. Белевицкий также сделал ошибочные выводы из формулировки о «вариантах одного замысла». Обе статьи были напечатаны им под одним порядковым номером (XI) в виде одной «хроники» с подзаголовками: «первый вариант» и «второй вариант». В комментариях редактор пояснил, что речь идет о вариантах «апрельской хроники». При этом текст «Итак, история утешает...» был произвольно определен как «*черновой набросок* апрельской хроники», страдающий «некоторой отрывочностью» (VI, 565), хотя этот текст дошел до нас не только в рукописи, но и в корректуре, значит был полностью подготовлен к печати. О том же, что сохранившаяся в бумагах Стасюлевича салтыковская рукопись содержит не фрагмент текста, а полный текст статьи, с началом и концом, свидетельствует не только внешний вид рукописи — наборной — но и ее содержание. В середине изложения есть такое место: «Уже в самом начале настоящей статьи я заявил мое полное сочувствие тем лучшим людям, которые не только мыслят, но и отстаивают свои мысли с страстностью, доходящей до самоотвержения» (VI, 337; подчеркнуто мною. — С. М.). Именно с этого заявления сочувствия борющимся и гибнущим в борьбе революционерам, людям «страстной мысли, мысли, доведенной

до героизма», и начинается документ «Итак, история утешает...» (VI, 332). О том же, что статья закончена, свидетельствуют ее последние слова: «Вот все, что могу покамест сказать об этом предмете» (VI, 348).

Какие же выводы можно сделать из всего изложенного?

Исследователям известны сейчас три документа — три корректуры (текст одной из них дошел и в наборной рукописи), предназначавшиеся для опубликования в цикле статей «Наша общественная жизнь», но оставшихся в свое время ненапечатанными: два ранее обнаруженных («Начну с того самого пункта...» и «Итак, история утешает...») и один недавно найденный и впервые здесь публикуемый («Археологи свидетельствуют...»).

Все три документа относятся к 1864 г. и являются одновременно и памятниками катастрофы, постигшей салтыковский публицистический цикл на «апрельской хронике» из-за вмешательства цензуры, и свидетельствами непрекращавшихся усилий писателя возобновить после этой катастрофы печатание «хроник» «Нашей общественной жизни».

Два документа поддаются более точным датировкам. Текст статьи «Начну с того самого пункта» возник между серединой марта и серединой апреля; текст вновь найденной статьи «Археологи свидетельствуют...» — вслед за ним, между серединой и концом апреля.

Третий документ, статья теоретического характера «Итак, история утешает...» не имеет таких примет, которые позволили бы установить точную дату его возникновения. Ироническое упоминание о философе Ризоположенском (Г. Е. Благосветлове), публицисте Скорбященском (Н. А. Благовещенском) и псевдоестествоиспытателе Кроличкове (В. А. Зайцеве) указывает лишь на 1864 год — год полемики Щедрина с публицистами и критиками «Русского слова». По своему содержанию документ «Итак, история утешает...» близок к двум первым — апрельским. Все три статьи посвящены разработке одного вопроса — вопроса организации демократических сил для освободительной борьбы. Тематической близости сопутствует и близость (не тождественность) некоторых образов и формулировок (примеры будут приведены ниже). Итак, допустимо предположение, что эта статья также возникла в весенние месяцы 1864 г. Однако, как мы увидим, не исключаются и другие предположения, т. к. возможны более поздние датировки.

В какой же последовательности намеревался Салтыков использовать заготовленные им материалы в своих попытках возобновить и продолжить цикл «Нашей общественной жизни»?

Вне сомнений лишь место первого, наиболее раннего документа: «Начну с того самого пункта...». Это бесспорно продолжение «мартовской хроники» — «апрельская хроника».

Относительно второго документа — публикуемой статьи «Археологи свидетельствуют...» возможны лишь предположения.

Возможно, что перед нами *продолжение апрельской хроники*. Однако текст, которым начинается «продолжение», явно не примыкает к окончанию статьи «Начну с того самого пункта...». Можно было бы допустить, что до нас не дошел какой-то соединительный кусок текста, но, кроме того, есть и указанное выше наблюдение, вызывающее сомнение в правдивости настоящего предположения. Объем, который приходился бы в этом случае на «апрельскую хроника», примерно в два раза больше того, который, судя по типографскому счету, был изъят цензурой из четвертой книжки журнала. Возможно другое предположение: текст «Археологи свидетельствуют...» представляет собою самостоятельную статью, написанную для апрельского номера, взамен запрещенной статьи «Начну с того самого пункта...». В этом случае текст определяется как *новая редакция «апрельской хроники»*. Наконец, возможно, что найдена корректура статьи, предназначавшейся для пятого номера «Современника». В этом случае публикуемый документ должен быть определен как *майская хроника*. То обстоятельство, что незначительная часть запрещенной «хроники» оказалась использованной в пятом же номере «Современника» в статье «Литературные мелочи», не противоречит этому предположению: Салтыков был в таких случаях очень оперативен.

Назначение третьего документа «Итак, история утешает...» в пределах весенних номеров «Современника» пока не определяется, несмотря на тематическую близость этой статьи с материалами «апрельской хроники» и ее «продолжения» («Археологи свидетельствуют...»). Не исключено, что эта статья, не поддающаяся точной датировке, предназначалась для более поздних номеров. К такому предположению ведет одно, оставшееся до сих пор неучтенным, эпистолярное свидетельство Салтыкова*. В письме от 5 октября 1864 г. из Витенева он жаловался Некрасову: «„Заметку“ мою в августовской книжке не напечатали, и я получил от Пыпина (уже после выхода книжки) письмо, в котором он пишет, что находит мою „Заметку“ слишком серьезною (?). Ну, да черт с ними, а дело в том, что мне совершенно необходимо видаться с вами и поговорить обстоятельно. Ибо тут идет дело об том, могу ли угодить на вкус гг. Пыпина и Антоновича. Я послал на днях мою хроникку с просьбой уважить меня, напечатать без перемен. Что будет — не знаю» (подчеркнуто нами. — С. М.).

Письмо это, помеченное в подлиннике только числом и месяцем, было опубликовано с неверным определением года — «1863» вместо «1864» (XVIII, 184—185; год устанавливается по упоминанию о «Заметке», предназначавшейся для августовской книжки «Современника»: Салтыков хотел ответить в ней на выпады «Русского слова» и «Эпохи» в статьях за летние месяцы 1864 г. — VI, 521—522 и 567).

Слова о посланной «хронике» остались не комментированными и не привлекли внимания редактора, готовившего публикацию «Нашей общественной жизни» для собрания сочинений.

Какая же «хроника» и для какого номера была послана Салтыковым из Витенева в конце сентября или в первых числах октября 1864 г.? Возможно, конечно, что она до нас не дошла, возможно, что, будучи забракована в самой редакции, она не пошла в набор. Но в пределах известного нам материала такой «хроникой» могла быть только статья «Итак, история утешает...». Предназначалась она, вероятно, для октябрьского номера, хотя Салтыков мог рассчитывать и на сентябрьский, сильно запаздывавший (ценз. разр. 23 сентября и 16 октября, выход в свет 21 октября). В пользу этой «осенней» датировки статьи «Итак, история утешает...» говорит и более спокойный тон полемики с «Русским словом», которая весной и летом велась гораздо резче. Наконец, статья могла быть написана весной и пролежать до осени.

Если мы примем высказанную гипотезу, что именно статья «Итак, история утешает...» составляла сентябрьскую или октябрьскую «хроникку», то естественно возникает мысль о предшествовавшей неизвестной нам «июльской или августовской хронике», которая оканчивалась темой «история утешает». Такое предположение уже было высказано в «Литературном наследстве» (т. 11-12, стр. 240).

Возвращаясь к публикуемому документу, нам остается спросить: кто же и когда решил судьбу статьи «Археологи свидетельствуют...»?

В соответствующих архивных фондах мы не нашли никаких следов рассмотрения этого материала в цензурных инстанциях. Возможно, что статья была изъята редакцией «Современника» вследствие неофициального совета цензора. Такая практика негласной предупреждающей цензуры входила, как известно, в созданную Некрасовым систему охранения журнала и широко применялась.

Возможно, однако, что дело вообще не дошло до цензуры: статья могла быть признана опасной в самой редакции, Некрасовым и его товарищами. Как будет показано ниже, она была написана под непосредственным впечатлением от только что совершившейся расправы правительства с Чернышевским: открытое осуждение этого «акта вопиющей и злобной нелепости» могло оказаться губительным для «Современника».

Итак, изучение истории публикуемого документа позволило уточнить даты возникновения двух салтыковских «хроник», оставшихся не напечатанными в «Современнике», и высказать некоторые новые соображения о третьей «хронике». Тем самым мы получили возможность сделать вывод, что борьба Салтыкова за возобновление

* Ныне это свидетельство и некоторые выводы из него вытекающие учтены в книге Е. И. Покусаева «Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы» (Саратов, 1958, стр. 221—225).

своего боевого публицистического и теоретического цикла не ограничилась, как предполагалось раньше, усилиями спасти «апрельскую хронику». Борьба продолжалась до осени 1864 г., то есть практически вплоть до прекращения работы Салтыкова в «Современнике».

* * *

Обратимся к содержанию публикуемого документа.

Статья «Археологи свидетельствуют...» состоит из двух частей. Большая часть — вторая — занята очередным «обозрением», текущими литературно-общественными вопросами. Здесь полемика с Иваном Аксаковым («Касьяновым») и его газетой «День» спор с «Московскими ведомостями» по поводу проекта цензурной реформы, иронические намеки в адрес «петербургских прогрессистов», под которыми разумеется группа «Русского слова», сатирические отклики на антиингилистический роман Ключникова «Марев» — не названный, но опознаваемый по именам его героев («девицы Инны Горобец» и «тихо курлыкающего каплуна Русанова»).

Первая, несколько меньшая часть статьи посвящена размышлениям о трудном положении русского общественного деятеля, о его «незащищенности», о рискованности, почти безнадежности его ремесла и о том, что общество бессильно оградить своих «истинных деятелей» от угрожающего им «жала смерти».

Эта часть публикуемого документа представляет особенный интерес. Ведь за несколько дней до того, как Салтыков взялся за перо, 7 апреля 1864 г. Государственный совет и Александр II утвердили приговор Чернышевскому. Весть эта мгновенно распространилась в Петербурге, поразив даже тех, кто не возлагал никаких надежд на царскую милость. Поразила она и Салтыкова. Но не только поразила. Нет сомнений, что в публикуемом документе тема трагической судьбы «истинных деятелей» России возникла как непосредственный отклик Салтыкова на гражданскую гибель великого революционера. Но, как всегда, Салтыков обобщает. Его широкая разработка темы заставляет вспомнить такую же жестокую участь и М. И. Михайлова, и Н. А. Серно-Соловьевича, и других революционеров, чья деятельность и самая жизнь были пресечены тюрьмой и каторгой. Не только против правительства — непосредственного виновника гибели революционной интеллигенции — направлен гнев Салтыкова; он обвиняет и все общество, неспособное оградить своих «истинных деятелей», «за-слонять» от «жала смерти» то «лучшее и прекраснейшее», соками чего само же оно питается.

Вместе с тем Салтыков стремился не только заклеймить, поставить к позорному столбу правительство Александра II и покорное ему общество. Он хотел, чтобы общество извлекло «урок» и «поучение» из свершившегося «акта вопиющей и злобной нелепости». Он пытался указать демократическим силам страны средства борьбы с реакцией, которые могли бы предотвратить или, по крайней мере, уменьшить ее жертвы. Говорить открыто о таких вопросах в легальной печати было, разумеется, невозможно. К подобному предмету можно было, по словам сатирика, прикасаться «только с величайшей осторожностью и крайнею, почти рабскою изворотливостью» (VI, 317). Чтобы все-таки высказать свои мысли, Салтыкову пришлось прибегнуть к еще более усложненному, чем обычно, приемам своего эзопова языка. Вследствие этого некоторые иносказания в публикуемой статье остаются не вполне ясными. В них почти всюду оставлено нечто недоговоренное, рассчитанное на чтение между строк, на осведомленность современников и их искусственность в понимании эзоповой речи. В наши дни такой текст не может быть понят без некоторых пояснений.

Статья начинается с рассуждений о «руководящих признаках» или «знамениях», по которым, — утверждают археологи, — в древности люди узнавали о грозящих бедствиях. Эти абстрактные рассуждения о суевериях древних, эти «околичности», — как называл их Салтыков, — представляют собою вынужденную форму, под покровом которой автор получает возможность намекнуть, что дальше речь пойдет об отношении общества к социальным бедствиям — «война или голод, или болезнь повальная, т. е. вообще всякого рода мор» — а также и к отдельным «актам вопиющей и злобной нелепости».

От свидетельств археологов о суевериях древних Салтыков переходит к современности. «В нынешнее просвещенное время, — указывает он, — хотя руководящие признаки и продолжают периодически появляться, но им уже не верят. „Мальчики“ с песьими головами целыми стадами гуляют по Невскому, но никто не хочет видеть в этом никакого признака...». Автор не разделяет «такой современной самоуверенности» и сознается, что когда он видит «мальчиков с песьими головами», его пронимает дрожь: «Я чувствую, совершенно яственно чувствую, что где-нибудь в эту минуту должна явиться болезнь великая, и что неутолимое какое-нибудь горе должно склонять свою голову под ударами несправедливости судьбы...». Эти слова уже вплотную подводят читателя к предмету салтыковского обличения: они указывали на разгул правительственной реакции и полицейских репрессий и напоминали об их жертвах. Сигналом для узнавания служил образ «мальчиков с песьими головами». Салтыков мог рассчитывать, что его читатели помнят «мартовскую хронику» 1864 г., которая начиналась характеристикой «мальчиков» как антитезы «мальчишек» и «мальчишества» — молодого поколения разночинцев-демократов. «На свете не все же мальчишки, — иронизировал Салтыков, — не все жулики и демократы. Рядом с тем молодым поколением, против которого ратуют московские публицисты*, растет другое, на котором с доверчивостью и любовью могут отдохнуть взоры их» (VI, 295). Этих представителей реакционно-охранительной молодежи Салтыков и называет «мальчишками». Он дает характеристики разных вариантов этого типа: одна из них относится к тем деятелям обновленного в связи с реформами государственного аппарата, которые явились главными проводниками «твердого курса» правительства в борьбе с революционным движением. Васе Чубикову, одному из «мальчиков», чью примерную биографию рассказывает Салтыков в «мартовской хронике», 1862 год — год перехода реакции в наступление, год ареста Чернышевского — «дал крылья», сделал его приверженцем «теории ежовых рукавиц», вдохновил на сочинение проекта «Об истреблении гибельного нигилистического разврата в самом его зародыше» (VI, 306). В публикуемой статье образ «мальчиков» по сравнению с «мартовской хроникой» усложнен: им присваиваются «песьи головы». Песьи головы, приторочив их к седлам, возили с собой опричники. Вместе с тем рождение младенцев с песьими головами — одно из знамений, указанных в Апокалипсисе; это связывает новое иносказание с предшествующими рассуждениями о признаках грядущих бедствий. Итак, «мальчики с песьими головами» расшифровываются как молодые усовершенствованные «деятели» в аппарате государственного управления, специализировавшиеся на борьбе с «крамолой». «Изобильное появление» «мальчиков с песьими головами» — признак, «знамение» предстоящего или уже совершившегося нажима реакции, обострения полицейских репрессий.

Однако, — продолжает Салтыков свои рассуждения, — современное общество не верит в «знаменья». А если бы и верило, если бы даже обладало даром исторического предвидения, оно не могло бы предотвратить грозящие ему бедствия, оказать им отпор. Почему? Салтыков находит объяснение и обоснование этому в свойствах самого общества. Он различает в нем «только две разновидности людей». Первую представляют обладатели «песьих голов и птичьих когтей». В данном случае, эти образы употреблены уже не для обозначения определенной группы в государственной администрации, а для социально-типологической характеристики. Речь идет вообще обо всех членах общества, которые являются активными носителями и приверженцами хищничества и насилия, во всех их разнообразных формах. Вторую разновидность представляют, напротив того, люди, пассивно, фаталистически подчиняющиеся хищничеству и насилию: «адамиты», «нетовцы», «купидоны». Названия сект — народных и светских — употреблены потому, что в глазах Салтыкова презрение к «жизненным трепетаниям», равнодушие к «живым зовам действительности» и реалистической борьбе за ее переустройство, фаталистический взгляд на несправедливость жизни «как на неотразимое зло» — являются главными отличительными признаками всякого «сектаторства». «Адамиты», «нетовцы», «купидоны» и «другие фофаны» пользуются «человеческим

* Салтыков имеет в виду Каткова, Ив. Аксакова, Чичерина и других деятелей антидемократического лагеря. — С. М.

образом», но в то же время украшены *«чрезмерно длинными ушами»*. Здесь Салтыков вплетает в ткань своих рассуждений полемический намек. Животных с длинными опущенными ушами зовут *вислоухими*; в применении к человеку слово это означает, как известно, простоватость, служит синонимом слова «простофиля», «фофан». Салтыков называл «вислоухими и юродствующими» сотрудников «Русского слова» — Зайцева, Писарева и других, упрекая деятелей этой группы как раз в «мрачном сектаторстве», в брезгливом и презрительном отчуждении от живой действительности и ее насущных нужд.

Таким образом, в современном ему обществе Салтыков не видит сил, способных противостоять «мальчикам с песьими головами». Чтобы правильно понять его мысль, следует иметь в виду, что неспособность к какой-либо борьбе, кроме пассивного «протеста своими боками», он приписывает в данном случае лишь привилегированной верхушке народа, а не его массе. Это видно из следующего разъяснения Салтыкова в «апрельской хронике» 1864 г. («Начну с того самого пункта...»): «...я обязан оговориться, что, употребляя здесь слово „общество“, я понимаю его в том ограниченном смысле, который обыкновенно присвоится ему в литературе. Я говорю об обществе мнимом, о той накипи, которая плавает на поверхности, а не о низменной (то есть низовой. — С. М.) силе, которая никогда не покидает реальной почвы и не знает никаких утлий» (VI, 349).

Бессилие образованной части общества и непробужденность масс определяют то положение русского общественного деятеля, которое, по словам Салтыкова, «имеет мало в себе завидного». Русский деятель — деятель-демократ, деятель-революционер — находится постоянно под гнетом двух обстоятельств. С одной стороны, он беззащитен перед лицом *«горюхо организованнейшей силы»* — антинародной власти самодержавия. С другой стороны, он подавлен огромностью разрыва между высшей деятельностью ума, устремленной к «гармонии будущего» — и реальным умственным уровнем масс. *«Страшная мысль — не вращается ли он в пустоте и есть ли кому дело до его деятельности, должна всеминутно преследовать и терзать русского деятеля»*, — заявляет Салтыков. Размышление на эту тему входит в комплекс основных идейных поисков Салтыкова — поисков преодоления «глубокого антагонизма между толпой и людьми мысли» (VI, 341), поисков опрощения, популяризации передовых взглядов, превращения их в «мирское достояние», поисков средств «объединения мысли с делом». Разработка этих вопросов, занимающих одно из центральных мест в цикле «Наша общественная жизнь», уделено особенно много внимания в «хронике» «Итак, история утешает...». Здесь имеются формулировки, почти дословно совпадающие с комментируемым текстом, например: «Необходимо упростить мысль, сделать ее мирским достоянием, необходимо, чтоб она дошла до большинства в доступной ему форме, чтоб она завладела им незаметно для него самого и не оскорбляла его своею высотой и „величием“» (VI, 347).

Наряду с риском «очутиться в самом оскорбительном одиночестве», работе передовой мысли мешает ее незащищенность от «мелочей» и «неполезных элементов» повседневности. Вследствие их натиска «истинный деятель» вынуждается не только «работать и создавать» — «он, сверх того, должен позаботиться и о способах» к ограждению чистоты и целостности своих убеждений. Он принужден заботиться об этом *сам*, отвлекаясь от своих основных задач, потому что: *«Нет у него волццов! нет пламенных, преданных, не размышляющих волццов!»*

Что это за «волццы», что означает этот образ?

Волцек — род колючей сорной травы. Она специально выращивалась иногда в виде изгородей, ограждающих посев от скота. Это практическое назначение волчца и послужило основой для салтыковского иносказания. Волчцы-люди (именуемые также «купидонами») сами по себе не играют никакой роли. У них есть всего лишь одно «драгоценное качество» — *«благоданмерность»*. В данном контексте это слово следует понимать не в привычном нам ироническом смысле, а как обозначение *неразмышляющей преданности* «волчцов» по отношению к людям мысли. Занятия «волчцов» должны заключаться не только в том, чтобы брать на себя отвлекающую и истощающую людей мысли борьбу с мелочами житейской практики, и не только в том, чтобы

утучнять и разрыхлять для сеятеля почву, а затем охранять посеянное. «Волчцы», они же «купидоны», обязаны к большому: они должны «жертвовать собой и самоотвергаться» ради «истинных деятелей». В этом их призвание, их «ремесло». Рассуждение о «волчцах» принадлежит к занимавшим Салтыкова мыслям о принципах организации сил для борьбы за будущее, в том числе и для революционной борьбы, на языке Салтыкова — «войны». Подробно об этих вопросах говорится в статье «Начну с того пункта...» и, особенно, в статье «Итак, история утешает...». В этой последней статье, где также упоминаются «волчцы» (VI, 344), Салтыков прямо говорит о «войне», то есть революции. Она признается неизбежной и потому необходимой: «Если,— пишет Салтыков,— при известных условиях, жизнь представляется в форме войны, то никто не изземлется от необходимости вести ее...» (VI, 342). Однако «война» — это зло. Она «претит» людям мира и гармонии, потому что «в мире разумном, в том идеальном мире, до представления которого может, по времени, возвыситься наша мысль*, насилие немислимо» (VI, 344). Итак, теоретически насилие и неразумно, и немислимо. А между тем основанная на насилии война существует: «Она не хочет знать наших теорий, а присутствует в том раздражающем и опьяняющем воздухе, которым мы дышим» (VI, 345). Эти противоречия Салтыков пытается разрешить путем характерного утопического проекта организации сил для ведения «войны». Согласно этому проекту, организация должна состоять из «инициаторов» или «людей мысли» и «чернорабочих» или «нижних чинов мысли». Первые не должны покидать сферы мысли, вторые — сферы практического дела.

Таким образом, вся грубая сторона ведения «войны», связанная с насилием, которое «претит людям мысли», все «мелкие подробности, вся горечь и неприятность, неразлучные с процессом проникновения мысли в практику» (VI, 345) падут на долю преданных чернорабочих, которые не дадут людям мысли власть в противоречие с дорогими им убеждениями, защитят эти убеждения «своими телами».

Нетрудно убедиться, что образ «волчцов» в комментируемом тексте равнозначен образу «чернорабочих» из статей «Начну с того самого пункта...» и «Итак, история утешает...». В последней статье встречается еще один образ, которым Салтыков стремился пояснить защитную роль «чернорабочих» или «волчцов» по отношению к «людям мысли»: «Они представляют собой те самые *ожалы*, за которыми мысль может жить и развиваться, не будучи каждую минуту вынуждаема заботиться о своей защите» (VI, 343. — Подчеркнуто нами. — С. М.).

Мысли Салтыкова о принципах организации сил для ведения «войны» были утопичны. Они не соответствовали ни характеру революционной борьбы тех лет, ни требованиям о единстве теории и практики, предъявлявшимся к участникам этой борьбы ее вождем Чернышевским. «Революционеры 61-го года», первая «Земля и воля» не знали разделения своих рядов на людей мысли и чернорабочих дела. «План» Салтыкова свидетельствует о том, что писатель был далек от осведомленности в делах революционного подполья и развивал мысли, к тому времени уже устаревшие. В этом отношении интересно указать на близость утопического плана Салтыкова со столь же утопическим, но более ранним проектом, изложенным Огаревым в документе, условно озаглавленном «Цель, методы и организация общества» (1859 г.). Согласно «проекту» Салтыкова, действующие революционеры не мыслят, мыслящие же не действуют. Нечто очень близкое видим и у Огарева. Согласно его проекту, тайное общество также должно состоять из немногих теоретиков-руководителей — «мыслящего меньшинства», который должен «создать себе живые отношения с немым *множеством*» — армией слепо повинующихся нерассуждающих исполнителей («Лит. наследство», т. 61, 1953, стр. 499. Подчеркнуто нами. — С. М.).

«Проект» Салтыкова, предназначавшийся для опубликования в легальной печати, уже по одной этой причине не может рассматриваться в непосредственной связи с попытками революционеров, уцелевших после разгрома 1862—1863 гг., продолжать

* Речь тут идет об учениях утопического социализма. — С. М.

строительство тайной революционной организации. Выступление Салтыкова было теоретическим. Тем не менее, как уже было сказано выше, сама жизнь, а именно тяжелые жертвы, понесенные революционерами, и, в первую очередь, арест Чернышевского, а затем приговор ему, — поставили перед Салтыковым с такой остротой вопрос о трагической судьбе «истинных деятелей» и о необходимости изыскания средств к ограждению их от «жала смерти».

О том, что перед умственным взором Салтыкова, когда он в середине апреля 1864 г. писал свою статью, стоял образ Чернышевского, только что получившего каторжный приговор, свидетельствуют многие страницы. Говоря, что «в гнилой и исполненной миазмов атмосфере», то есть в атмосфере торжествующей реакции, «увядает, действительно, не только хорошее, но и лучшее, посекается не только доброе, но и прекраснейшее», Салтыков имел в виду не только общие результаты реакции, но и конкретные жертвы полицейских репрессий — заключенных в казематы Чернышевского, Николая Серно-Соловьевича, Михайлова, Николая Обручева, казненных Сераковского, Путьяту и других революционеров. Это к Чернышевскому и его товарищам, «исчезнувшим» в казематах Петропавловской крепости или на каторге в Сибири, относятся слова о том, что «люди, сегодня еще полные жизни, могут завтра исчезнуть так же бесследно, как бесследно исчезают пузырьки на поверхности воды...». Чернышевского же имеет в виду Салтыков и в следующей фразе: «Еще вчера, вот здесь, на этом самом месте, было нечто, а сегодня уж тут пустота, которую кой-как усиливаются законопатить выдвинувшиеся вперед лилипутики и лилипутченки мысли». В последних словах содержится намек на Зайцева, Писарева и других публицистов из «Русского слова»: Салтыков отказывал им в праве считаться учениками и последователями Чернышевского. Именуя их «лилипутиками и лилипутченками мысли», Салтыков тем самым противопоставлял им Чернышевского как Гулливера — могучего великана мысли.

Беспощадная расправа самодержавия с великим деятелем русского освобождения и то равнодушие, с каким либеральные круги общества отнеслись к этой расправе (вспомним Кавелина), исторгают у Салтыкова крик отчаяния: *«Точно так же безучастно освещает солнце сцену человеческой глупости и правдности, точно так же (даже веселее и ходчее) стрекочут мальчики с песьими головами, и точно так же ежятся и жмутся к сторонке адалиты, нигилисты, купидоны... Никакого урока! никакого поучения!»*.

Эти слова, полные горечи и гнева, передают силу возмущения Салтыкова пассивностью общества, не умеющего ни защитить своих лучших людей, ни даже извлечь из их гибели «урок» и «поучение» на будущее.

Разумеется, и здесь не следует забывать ту оговорку, которую делал Салтыков, употребляя слово «общество». Упреки Салтыкова в предательском равнодушии адресовались преимущественно либеральной части общества, хотя, как об этом свидетельствует упоминание «нигилистов», затрагивали и его демократические круги.

* * *

Вновь найденная статья Салтыкова, или ее фрагмент, является ценным дополнением к крупнейшему публицистическому труду великого сатирика — циклу «Наша общественная жизнь». В этой статье продолжается разработка некоторых стержневых проблем мировоззрения писателя, в частности, проблемы соотношения теории и практики в переустройстве действительности, проблемы преодоления разрыва, «антагонизма» между передовой мыслью и массами. Новый документ позволяет судить о взглядах Салтыкова на некоторые важнейшие вопросы и события политического дня. Размышления по поводу этих вопросов и событий входят в круг основных тем салтыковской критики и публицистики середины шестидесятих годов. Широкое и всестороннее их изучение — задача еще не созданной в нашем литературоведении монографии о «Нашей общественной жизни» — о произведении, в котором, по словам Пыпина, «из-за мысли писателя, возмущаемого мрачными явлениями своей эпохи, проглядывает суд истории».

НАША ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Археологи свидетельствуют, что в бывалые времена, когда человечеству угрожало какое-нибудь бедствие, или же когда в его среде совершался акт вопиющей и злобной нелепости, то сама природа заблаговременно предупредоляла об этом смертных и достигала этой цели посредством временного извращения обычного действия своих сил. На небе появлялись необычайные звезды, померкло солнце, потрясалась земля, рождались уродливые младенцы с песьими головами, а в иных случаях даже ослы получали дар слова. При тогдашней глупости это было очень удобно, потому что благодаря таким руководящим признакам человечество могло с некоторою уверенностью говорить себе: ну вот, скоро нас посетит война или голод, или болезнь повальная, т. е. вообще всякого рода мор; или же: должно быть, в настоящую минуту кто-нибудь кого-нибудь очень сильно поприжал, коль скоро даже ослы заговорили. Разумеется, практической пользы от этого все-таки мало, потому что, с одной стороны, люди знали только одно: что будет мор, а от чего будет, в какой форме придет на них и нельзя ли от него избавиться — об этом не знали; с другой же стороны, ослы так часто получали дар слова, что люди могли из этого вывести тоже одно только заключение, а именно: что вопиющие нелепости совершаются, так сказать, непрерывно, и что, следовательно, разговаривать много об этом обстоятельстве даже непристойно. Тем не менее, у людей того времени все-таки было не малое утешение: во-первых, они могли с большим основанием сказать: посудите сами, возможно ли же нам жить? во-вторых, ихние историки имели право с полною достоверностью отмечать в своих летописях, что в такую-то вот минуту, должно полагать, совершалась отлично здоровенная пакость, коль скоро сама природа сочла долгом против нее протестовать...

В нынешнее просвещенное время, хотя руководящие признаки и продолжают периодически появляться, но им уже не верят. «Мальчики» с песьими головами целыми стадами гуляют по Невскому, но никто не хочет видеть в этом никакого признака, точно так же, как в периодическом появлении комет или же в выступании реки Невы из берегов. Говорят, будто ослаблению такого рода верований много способствовал какой-то плодотворный скептицизм; однако, я позволяю себе думать, что этот скептицизм, при всей своей плодотворности, в настоящем случае довольно преждевременен и едва ли не свидетельствует о напрасной самоуверенности, которою заражено большинство наших современников. Положим, что научным образом, действительно, невозможно доказать связь, которая существует между мором во всех его видах и избытком звероподобных уродцев, тем не менее сердцем мы все эту связь понимаем и все уверены, что она существует. Следовательно, тут еще бабушка на двоє сказала: в самом ли деле, эта связь есть только ни на чем не основанный продукт темных предчувствий нашего сердца, или же наука только *не дошла* до того, чтобы определить ее с совершенною точностью. Скажу даже более: при нашей глупости, такое отсутствие веры в звезды и в уродов даже очень невыгодно, потому что, сравнительно с древними, что мы в сущности такого приобрели, что давало бы нам право пренебрегать приметами? Мы приобрели только голую уверенность, что звезды и мальчики существуют сами по себе, а мор сам по себе, но уверенности в том, что мы в силах устранять подобного рода неприятные сюрпризы, все-таки не приобрели, и таких средств, которые служили бы нам в этом случае помощью, не придумали. И потому, сознаюсь откровенно, я отнюдь не разделяю такой современной самоуверенности, и когда вижу на Невском проспекте мальчиков с песьими головами (в особенности, если они веселенько хихикают или стрекочат), то меня пронимает дрожь; я чувствую,

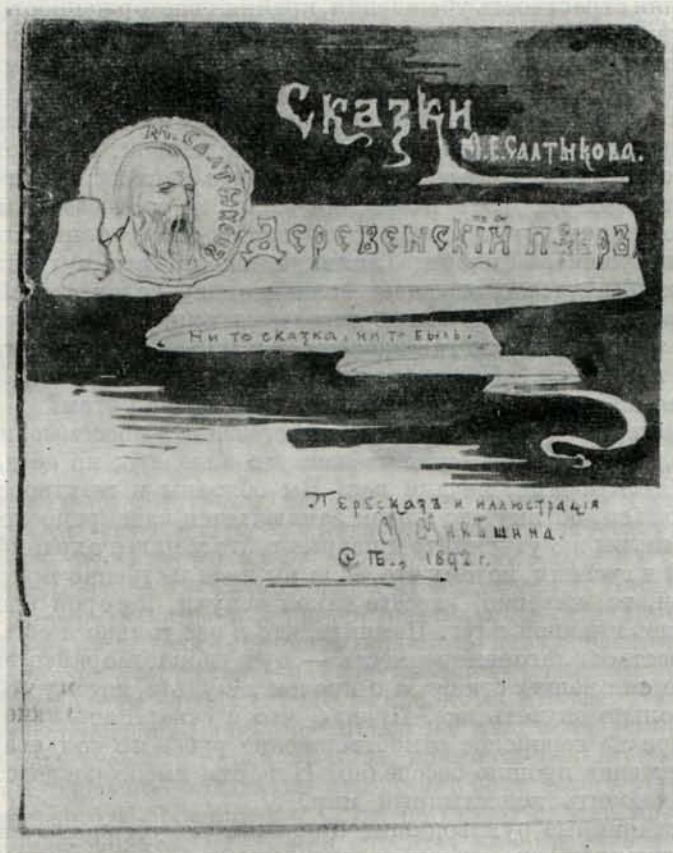
совершенно явственно чувствую, что где-нибудь в эту минуту должна гнездиться болезнь великая, и что неутолимое какое-нибудь горе должно склонять свою голову под ударами несправедливости судьбы...

Но, с другой стороны, может представиться и такой вопрос: если бы мы и признавали силу таких руководящих признаков, если бы и верили знамениям, то извлекали бы для себя из этого выгоду, уразумели бы что-нибудь, сумели бы оградить себя? Увы! на все эти вопросы я вынужден отвечать если не совершенным отрицанием, то во всяком случае — сомнением. Если из знаний и истин самых положительных и бесспорных мы не успели выработать для себя ничего пригодного, если даже этим прочным материалом мы не сумели воспользоваться для того, чтобы оградить, по крайней мере, свою целость, то какую же пользу мы могли бы извлечь для себя из простых примет, даже в таком случае, если бы некоторые из них, как, например, избыточное появление людей с песьими головами, могли повести к соображениям очень остроумным и далеко не безосновательным? Всматриваясь пристально в современное наше общество, я успел различить в нем только две разновидности людей: с одной стороны, обладателей песьих голов и птичьих когтей, с другой — адамитов, кунидонов и других фофанов, хотя и пользующихся человеческим образом, но в то же время украшенных чрезмерно длинными ушами. Первые хищны, плотоядны и прожорливы, вторые — смирны, травоядны и не только умеренны, но еще усугубляют свою умеренность тем, что постоянно зевают по сторонам и проносят мимо рта попадающиеся куски. Первые любят действовать с наскоку и не без удовольствия поедают последних; вторые смотрят на это, как на неотразимое зло, которое можно объяснять себе тем-то и тем-то, и только изредка для очищения совести испускают слабый писк. Понятно, что таким сорвиголовам, каковыми являются наши кунидоны и нетовцы, никакие знамения не помогут и что они в этом случае должны остановиться на том же, на чем, конечно, с удовольствием останавливались и достославные их предки, а именно на том премудром заключении, что всякой штуке от начала известный предел положен, которого не перейдешь и никакими человеческими усилиями не отворишь...

Но понятно также, что мы не должны ни удивляться, ни ахать, когда жало смерти оказывается относительно нас беспощадным. Принято говорить: в гнилой и исполненной миазмов атмосфере все хорошее безвременно увядает, все доброе варварски посекается. В этом, конечно, есть своя доля истины: увядает, действительно, не только хорошее, но и лучшее, посекается не только доброе, но и прекраснейшее. Но объяснять подобным образом это увядание и посекновение и успокаиваться на таком объяснении могут только те благонамеренные, но никуда негодные волчцы, которые бесполезно бременят собою человеческую ниву. Конечно, объяснять и философствовать можно легко, приятно и удобно, но я полагаю, что истинное дело волчцов не объяснять, а заслонять собой то лучшее и прекраснейшее, которого соками они питаются; их дело не философствовать и изрекать неизреченная, а без дальнейших разговоров несчетными грудями валиться около этого лучшего и прекраснейшего и образовать своими телами такую непроходимую трупобу, сквозь которую мудрено было бы и пробраться. Пусть знают и помнят волчцы, что когда иссякнут те соки, которые давали им жизнь, тогда неотразимо иссякнут и сами они, волчцы. И не успеют они догадаться, как некоторый древний Минотавр поглатает их всех, или же — что еще хуже — как у них у самих вырастут на плечах песьи головы. Ибо кто тогда наставит их? Кто защитит их бедность, невинность и убожество?

Да, положение русского общественного деятеля имеет мало в себе завидного. Мало того, что он должен работать и создавать: он, сверх

того, должен позаботиться и о способах к ограждению и защите. Нет у него волцгов! нет пламенных, преданных, не размышляющих волцгов! И когда он истощит свои силы в борьбе с мелочами (она-то собственно и должна бы составлять занятие волцгов), то в результате получит одно: удовольствие видеть себя одиноким в поле и убедиться, что люди, сегодня еще полные жизни, могут завтра исчезнуть так же бесследно, как бесследно исчезают пузыри на поверхности воды...



ПРЕДПОЛАГАВШЕЕСЯ ИЗДАНИЕ СКАЗКИ ЩЕДРИНА
«ДЕРЕВЕНСКИЙ ПОЖАР» С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ
М. О. МИКЕШИНА, 1892 г.

Обложка

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Страшная мысль — не вращается ли он в пустоте и есть ли кому дело до его деятельности, должна всеминутно преследовать и терзать русского деятеля. Между ним и массой нет той полезной посредствующей среды, которая, с одной стороны, популяризирует мысль и делает ее мирским достоянием, а с другой стороны, подмечает действительный умственный уровень масс и их насущные нужды и этими живыми наблюдениями освежает и укрепляет высшую деятельность мысли. Во всяком благоустроенном обществе мысль является средоточием, около которого образуются более или менее значительные группы; у нас — мысль является средоточием пустыни. Понятно, что, находясь в такой обстановке, мысль, при всей логичности своих выводов и даже при полной реальности своего

содержания, на каждом шагу рискует очутиться в самом оскорбительном одиночестве и убедиться, что вся ее работа есть не что иное, как пущенное на ветер искусство для искусства.

Нет сомнения, что подобная фантастичность обстановки в значительной степени влияет на самую энергию мысли, делает ремесло общественного деятеля до крайности рискованным, почти безнадежным, и естественно, само собой доводит число их до тех крайних цифр, за которыми может следовать дробь или нуль. Да и тут, даже в этих немногих случаях, только крайняя страстность убеждения, крайняя восторженность мысли может вывести человека на эту омерзительную арену человеческого бессмыслия и пошлости. И таким образом, истинный деятель становится редкостью, диковиной, возбуждающей любопытство праздно толпы, но не зажигающей в ней той искры, которая объединяет мысль с делом и последнему дает характер естественного продолжения первой. И может он и умирать, и исчезать, сколько ему угодно — и никто не заметит ни смерти его, ни исчезновения. Еще вчера, вот здесь, на этом самом месте, было нечто, а сегодня уж тут пустота, которую кой-как усиливаются законопатить выдвинувшиеся вперед лилипутики и лилипутченки мысли. Точно так же безучастно освещает солнце сцену человеческой глупости и праздности, точно так же (даже веселее и ходчее) стрекочут мальчишки с песьими головами, и точно так же ежатся и жмутся к сторонке адамиты, нигилисты и купидоны... Никакого урока! никакого поучения! Неужели же есть какая-нибудь возможность не задуматься над этим?

Самоотвержение — глупость, самоотвержение — бессмыслица: положим, что вы, купидоны, и сумеете все это доказать; но не для вас тут глупость и бессмыслица, не для вас! Вы обязаны и жертвовать собой, и самоотвергаться, потому что в этом заключается ваше ремесло. Оставьте сеять сеятелям, вы же утучняйте и разрыхляйте землю и охраняйте посеянное от червей и гусениц, потому что, если вы насильственно присвоите себе роль сеятелей, то, наверно, засеете такой чепухи, которой впоследствии не переработает никакой плуг. Помните, что в вас только и есть одно драгоценное качество: благонамеренность — ну и удовлетворяйте этому свойству, сколько сил ваших станет, а о прочем забудьте, потому что это «прочее» может только спутать вас. Правда, что и севастопольские твердыни пали, несмотря на геройское самоотвержение русского солдата, но разве это самоотвержение прошло бесследно? Нет, оно имело последствием возможность заключить непостыдный мир.

Итак, и старинные руководящие признаки не убеждают нас; да если бы мы и держались еще предрассудков настолько, чтобы убеждаться знаменами, то это не привело бы нас ни к какому существенному результату. С помощью анализа мы пришли к признанию слишком большого количества глупостей, чтобы это не оказало очень сильного влияния на наше собственное одурение. А потому, предоставимте, возлюбленные, все сие воле божьей и будемте на прохладе беседовать о том, какие радости ждут впереди наших счастливых потомков.

Вот, например, что повествует в 16 № «Дня» г. Касьянов (тот самый г. Касьянов, который в прошлом году повествовал о подвигах русских барынь за границей, и который ныне витает уже в пределах обширного нашего отечества, и чуть ли даже не на лоне Спиридоновки):

«Знаете ли, что, по рассказам, случилось недавно в одном из уголков нашего пространного царства? Некоторые мальчишки в одном из общественных заведений (казенных или частных — не знаю), приглашенные своим училищным начальством говеть, — объявили священнику, что они нигилисты и говеют только по приказанию, — вследствие чего, конечно, священник и не допустил их до таинства. Скандал был ве-

ликий, благочестивые души местечка N были смущены, а местное начальство пришло в негодование. Мне первый поведал это мой приятель г. *Оглы*, городничий, — лихой малый из некрещенных татар, служивший гусаром в С. полку. Так вот этот г. *Оглы* первый возвестил мне это событие, которое вслед за тем подтвердил мне и *Пуффендорф*, его помощник, немец и лютеранин. Я было не поверил рассказу, но ужас, написанный на лицах гг. *Оглы* и *Пуффендорфа*, как официальных ревнителей „порядка“, говорил убедительнее всех доказательств. Но отчего так возмутились и вознегодовали мои добрые приятели-чиновники? Оскорбились ли они за веру, за православную церковь, взволновало ли их такое явное неуважение к ее обрядам и таинствам? Да вы за что сердитесь? — спросил я. „Помилуйте — ведь это нарушение дисциплины, ведь это“... и пр., пр.: вот что было ответом *Оглы* и *Пуффендорфа*: „ведь их свободу совести никто не стесняет, может, отцы их и не крепче были в вере, да все же ведь гонимые и свидетельства о гонимых получали и штрафа не подвергались“... прибавляли еще мои друзья, татарин и немец.

Затем почтенный г. *Касьянов*, возмущаясь «благоразумным лицемерием» гг. *Оглы* и *Пуффендорфа* и тут же кстати припоминая себе стихи знаменитого поэта-славянофила:

И ты, когда на битву с ложью,
Восстанет Правда дум святых,
Не налагай на правду божью
Гнилую тягость лат земных.
Доспех Саула — ей окова,
Ей царский тягостен шелом,
Ее оружие — божье слово,
А божье слово — божий гром!*

предлагает своим читателям, а в том числе, конечно, и упомянутым выше, достославным *Оглы* и *Пуффендорфу*, убеждать «некоторых мальчиков» посредством этого не им изобретенного оружия.

Прежде всего, я нахожу педагогический прием г. *Касьянова* в высшей степени изнурительным и даже истязательным. Никакие «действительные меры» не пиллят, так нестерпимо, как пиление словесное; ничто не ожесточает человека так сильно, как неумеренное казнение посредством восторженной ерунды, вроде сейчас выписанных стихов. Настоятельнейшее и притом совершенно законное право всякого истязуемого лица заключается в том, чтобы, по крайней мере, иметь цель прилагаемых к нему истязаний. Телесное наказание причиняет боль физическую и возмущает душу; конечно, *Пуффендорф* и *Оглы* не имеют ничего привлекательного, но их можно понять, их можно сносить, как временное иго (отзвонил, да и с колокольни долой), наконец, против них можно найти известные средства обороны. Но что можно сделать против наказания стиховного, против того наказания, которое стремится высосать не тело, но самую бессмертную человеческую душу? Представьте себе такую картину: сидит педагог и декламирует:

И ты, когда на битву с ложью
Восстанет Правда дум святых...

— Понимаешь? — ласково спрашивает педагог.

— Не — нет... не понимаю! — отвечает ученик, которого ласковость педагога вовсе не ободряет, а напротив заставляет подозревать нечто сугубое.

— А! Не понимаешь! ну, повторим сначала!

И ты, когда на битву с ложью
Восста-нет Прав-да дум свя-тых...

понимаешь?

* Из стихотворения А. С. Хомякова «Давид», 1844 г. — *Ред.*



РИСУНОК ДЛЯ ПРЕДПОЛАГАВШЕГОСЯ ИЗДАНИЯ СКАЗКИ ЩЕДРИНА
«ДЕРЕВЕНСКИЙ ПОЖАР» С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ М. О. МИКЕШИНА, 1892 г.

«Сказывали: шел мимо деревни солдатик, присел на заваленку, покурить трубочки...»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

И так до бесконечности. Что будет, если ученик этот, наконец, не догадается и не скажет: понимаю? Что будет, если сам педагог, наконец, не выйдет из терпения и не закричит не своим голосом: а ну-те, подавай-те-ка нам сюда розог? Поистине, я недоумеваю, какой может быть выход из этого трагического положения! ведь это все равно, что обнять необъятное, что изрекать неизреченное, что стараться уловить свой собственный кукиш...

Но даже если ученик и догадается сказать: «понимаю», то и тут он обязан употребить известную споровку, т. е. уметь сказать это весело, твердо, без колебаний в голосе, ибо педагоги такого рода, как г. Касьянов, очень прозорливы: сейчас усмотрят малейшее колебание в голосе, и тогда опять пошла песня в ход:

И ты, когда на битву с ложью
Восстанет Правда дум святых...

Но даже и тогда, если педагог достаточно раздражителен, чтобы выйти из себя при виде отчаянной непонятливости ученика, он обязывается высказать эту раздражительность как можно поспешнее, потому что при малейшем с его стороны замедлении ученик может дойти до конечного озлобления и сделать над собой что ни на есть скверное. Ибо ничто так упорно не отстаивает свои права на неприкосновенность и на невоспитываемость, как бессмертная человеческая душа.

Мы, русские, вообще довольно равнодушны к телесным исправлениям, в какой бы форме они до нас ни доходили, но душевных испытаний положительно выносить не можем. Мудрая Екатерина понимала это и наказыв-

вала своих придворных тем, что заставляла их, по мере вины, выучивать по несколько стихов из «Телемахиды». Г. Касьянов хочет применить эту методику в обширных размерах, но ведь надобно, чтоб он предварительно объявил вину, за которую россияне должны понести столь тяжкое наказание. Быть может, исправления этой вины предостаточно для гг. Оглы и Пуффендорфа.

Но дело не в педагогических приемах г. Касьянова, а в том факте, который он приводит. Говоря по совести, я ничего тут не понимаю. Что померещилось этим «некоторым мальчикам»? о чем они мечтали? зачем они говорили? зачем говорили?.. Скорблю.

Но если такой образ действия прискорбен со стороны «мальчиков», то в какой же мере должен он огорчать, когда исходит из среды людей взрослых? Относительно этих последних, действительно, уже ни Оглы, ни Пуффендорф не могут быть признаны целесообразными; тут надобны средства более крутые и радикальные, а именно: всякий раз, как такие люди замыслятся, следует говорить им: «а вот погодите, ужю отдам я вас г. Касьянову!» Присмреют, наверное.

«Московские ведомости» решительно намереваются устроить из своих столбцов палладиум российского либерализма. Это не то, что какой-нибудь «Голос», который скрипит, скрипит о ложбине, образуемой на Невском проспекте железно-конною дорогой, или о действиях Литературного фонда и до тех пор не сойдет с своей нотки, покуда, что называется, всю душу не вымотает. Нет, «Московские ведомости» берут все вопросы крупные и при разрешении их высказывают ту развязную любезность,

РИСУНОК ДЛЯ ПРЕДПОЛАГАВШЕГОСЯ ИЗДАНИЯ СКАЗКИ ШЕДРИНА «ДЕРЕВЕНСКИЙ ПОЖАР» С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ М. О. МИКЕШИНА, 1892 г.

«Общество, собравшееся в усадьбе помещицы Анны Андреевны Копейшиной...»

Центральный архив литературы и искусства, Москва



которая возможна только при полной уверенности в сочувствии даже со стороны такого строгосерьезного органа, как «Северная почта» (мысль эта, впрочем, не моя, а заимствована мной из статьи г. Самарина, опубликованной в 15 № «Дня»). Сегодня они будут рассматривать вопрос о раскольниках, завтра—вопрос о свободе слова, послезавтра—вопрос о русской общине, и везде убедят читателя, что для них нет ничего недоступного. Правда, что г. Самарин докажет им, что в суждениях их усматривается больше развязности, нежели основательности, но они сумеют вывернуться и из этого трудного обстоятельства и ответят г. Самарину, что ему оттого так кажется, что он «поставил мудрость своего кружка под гарантию российской империи», а они, «Московские ведомости», действовали всегда свободно и самостоятельно. Словом, либерализм стоит, так сказать, коромыслом — в столбцах этой старейшей русской газеты, и если не выедает глаз, то оттого только, что люди нынче вообще как-то изверились и все подозревают, не скрывается ли даже в самых лучших человеческих намерениях и действиях что-нибудь злокозненное или человекоубийственное.

Меня, как присяжного литератора, всего более, разумеется, занимал вопрос о книгопечатании. Целую зиму «Московские ведомости» препирались об этом предмете с Финляндией, и так это выходило у них приятно и сладко, что мне ничего не оставалось больше, как предвкусывать. Какое же было мое изумление и огорчение, когда в 85-м № я, наконец, прочитал давно ожидаемое разрешение этого трудного вопроса, — и как бы вы думали, в чем заключается это разрешение? — в установлении цензуры факультативной! Правда, что газета, предлагая эту меру, прибавляет, что это не мешает правительству предпринять, буде признает нужным, и более существенную реформу; правда, что она указывает при этом, например Турцию, в которой факультативная цензура действует с успехом, правда, что мера эта предлагается ею в тех видах, чтобы русская печать получила возможность действовать с большею пользой, «успешнее бороться со злом...» — все это правда: но и за всем тем делается как-то неловко при чтении этого «умеренного и непритязательного проекта», как выражаются «Московские ведомости». Все думается: да и в самом деле, нет ли уж в нем чего-нибудь злокозненного и человекоубийственного, если он представляется таким умеренным и непритязательным?

Чтобы уразуметь отчетливо, каким оцтом вознамерились опозить «Московские ведомости» русскую литературу под видом факультативной цензуры, необходимо, во-первых, иметь достоверное известие о положении, в котором находится эта последняя, и, во-вторых, объяснить себе истинное значение выражения «факультативная цензура».

Всем известно, что русская литература издревле имеет свою специальную цель, и именно ту, которую почтенная наша газета формулирует словами: бороться со злом. Все литературные наши органы только и занимаются тем, что борются, а добра не делают. Правда, что «Московские ведомости» прибавляют к этому небольшое словечко «успешно», но, как я докажу в своем месте, понятие об успешности или неуспешности борьбы есть понятие чисто фаталистическое: одним написано на роду бороться успешно, другим — тоже на роду написано бороться неуспешно. Дело в том, что, несмотря на то, что, по словам г. Касьянова (все в том же 16 № «Дня»), в нашей литературе «все слажено и такая согласная музыка труб и литавр, что за этими звуками других почти и не слышно», несмотря на это, говорю я, понятие о зле, как о предмете борьбы, далеко не так сложно, как это может показаться с первого взгляда. Во-первых, самая степень ясности в определении характера и содержания зла весьма различна; одни литературные органы до того уже пластично выясняют это

их, чтобы видеть себя триумфатором; что же касается до вторых, то здесь, очевидно, весь успех зависит от большей или меньшей прозорливости литературного органа и оттого, с тактом или без такта выбирает он сюжеты для борьбы. Литературные наши деятели почерпают сведения о зле из разных источников; говоря языком астрологов, одни борются под влиянием планеты Нептуна, другие — под влиянием Марса, третьи — под влиянием Меркурия и т. д., но понятно, что зла, указываемые этими планетами, могут быть весьма разнообразны, а следовательно, таковым же разнообразием в своих приемах должна сопровождаться и борьба с ними. Главную роль в настоящем случае, разумеется, играет понятие о большей или меньшей терпимости зла, а следовательно, и о большей или меньшей благовременности борьбы с ним. При настоящих условиях русской печати это последнее понятие устанавливается цензурой, но, устанавливая его, цензура все-таки отнюдь не подрывает другого понятия: понятия о самой благонамеренности борьбы со злом. Они говорят: вы все, действующие под влиянием Нептуна, Марса и Меркурия, все вы люди благонамеренные, но благонамеренною я могу признать только ту борьбу, которая производится под влиянием, например, Меркурия. Коротко и ясно. Слыша это, что делают сторонники Нептуна и Марса? Они, конечно, примиряются с своим положением, но в то же время дают тонко почувствовать: не будь у нас цензуры, так и не весть что наделаем! Вот это-то их хвастовство и нужно иметь в виду, если уже признается необходимым изменить условия, в которых находится русское книгопечатание. А для того, чтобы достигнуть этого, необходимо до известной степени ограничить понятие о благовременности; одним словом, необходимо, чтобы, например, «Голос» имел право высказывать свою неблагоприятную благонамеренность с тою же свободой, с какою «Московские ведомости» высказывают свою благонамеренность благовременную.

Может ли удовлетворить этому требованию цензура факультативная? Нимало. Что такое факультативная цензура? Это такого рода административная мера, которая, не изменяя ни в чем коренных условий печатного слова, ограничивается только дарованием авторам или издателям номинального права освобождать или не освобождать себя от действия предварительной цензуры. Почему я называю это право номинальным? А потому просто, что здесь возбуждается начало ответственности, но в то же время ни признаки, ни последствия этой ответственности ничем не определяются, и главным решителем вопросов остается все это же понятие о благовременности, понятие, подвергающееся непрерывным изменениям, которые уловить не только трудно, но даже невозможно. Следовательно, в окончательных своих результатах дело сводится здесь или к интриге, или к такой сверхъестественной прозорливости, которая ни в каком случае не может быть обязательною для всех литераторов без различия.

А потому: люди прозорливые или люди характера совещательного непременно поспешат освободиться от стеснений предварительной цензуры. Не потому, чтобы эта свобода в самом деле доставила им большую возможность «успешно бороться со злом», — этою-то возможностью, они, и состоя под цензурой, пользуются преестественно, — но потому, что свобода эта присовокупляет еще новую роскошь к той массе роскоши, которой они до того пользовались. С нею они приобретают не только право излагать все, что истекает из свойств этого наития, под которым они действуют (этим правом они обладали и прежде), но и множество разных других материальных удобств, как например: избавляются от сношений с цензурой и от всех формальностей, которые с этим сопряжены. Формальности эти сами по себе совсем не тяжелы, но самая необходимость подчиняться им должна возмущать человека, черпающего вдохновение из чис-

КАРИКАТУРА НА КАТКОВА
И ЕГО ГАЗЕТУ «МОСКОВСКИЕ
ВЕДОМОСТИ»

«Будильник», 1865, № 35



Дуй во всё лопатки, куда дует попутный ветеръ и приобрѣтешь славу благонамереннаго публициста.

того источника и доведшего свою мысль до полного соответствия. Но люди не прозорливые, или же хотя обладающие элементами совещательности, но совещательности неблаговременной, положительно вынуждены будут уклониться от факультативной цензуры в пользу чистой предварительной, ибо, видя перед собой только темный принцип «ответственности», они, как пловцы без кормила и весла, легко могут остаться в мучительной неизвестности насчет того, что лежит на дне этого принципа: прожорливый ли Левиафан или просто глубь водная. Будучи в существе своем чисты сердцем и непорочны душою, они увидят себя вынужденными невольно, но постоянно грешить против благовременности, которой признаки с добровольным отказом от предварительной цензуры скроются от них безвозвратно.

И таким образом, литературные органы, стоящие на равной высоте благонамеренности, очутятся в положении далеко не равном. «Голос» будет томиться в узах, а «Московские ведомости» будут разглагольствовать. Мало того, они будут еще поддразнивать:

Друг! Отчего печален голос твой?
Ответствуй, друг! реши мое сомненье!
Иль он твоей судьбы изображенье?
Иль счастье простилося с тобой?*

И чего доброго, под влиянием этих подстрекательств, «Голос» вооружится храбростью и воскликнет: не надо и мне цензуры, хочу и я в свою очередь пороскошествовать!.. Ну, и погибнет.

* Из послания П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу.—Ред.

Но может выйти из этого обстоятельства и еще горшее. Прозорливые люди возмнят себя уже совершенно развязанными относительно людей непрозорливых и скоро потеряют последний признак стыдливости, окончательно заменив ее одною ясностью. И когда непрозорливые люди будут отвечать им вяло или неясно, то прозорливые скажут: «сами вы виноваты! зачем же не стали в то самое положение, в какое стали мы! ведь вас не потчивали!» Вот и судитесь тогда с ними!

Так вот каким оцтом вознамерились опойть русскую литературу благовременно-благонамеренные «Московские ведомости». Ужели ли же чаша сия и в самом деле не пройдет мимо нас?

Еще одно слово. Весь петербургский чиновничий мир взволнован; экзекуторы в страхе, провинциальные секретари и сенатские регистраторы мнутяся, как домашние животные перед землетрясением. «Исправится ли девица Инна Горобец, поймет ли она, где ее истинные доброжелатели?» — вот вопрос, который, словно пожаром, охватил убеленные сединами головы этих невинных людей. В ожидании разрешения его дела остаются в запустении и в бумагах допускаются бесчисленные орфографические ошибки. Пользуясь этим административным смятением, молодые и вольнодумные чиновники даже вовсе перестали ходить на службу и с утра до вечера сибаритствуют себе в музыкальном кафе-ресторане купца Наумова.

С другой стороны, петербургские прогрессисты тоже взволнованы, но уже с некоторым оттенком уныния. До сих пор они носились с Инною, как некогда носились с Базаровым; они искренне увлекались ею и говорили: ну да, вот это наши люди, ибо на них почивает наша печать! Даже философ Кроличков — уже на что, кажется, человеконенавистник! — и тот, сказывают, одобрил сцену, когда Инна, лишенная одежды и сидя по горло в воде, знакомится с графом Бронским. «Право, хоть бы и мне так поступить!», — воскликнул он, забыв, что у него совсем не те атуры, которые могут сообщать подобному положению надлежащий интерес. И вдруг все эти прогрессисты теперь увидели, что Инна всегда только на волосок стояла от того, чтобы перейти в русановскую веру! Какое разочарование! Только что было приискали Базарову подругу жизни, и вдруг эта подруга изменяет ему — и для кого изменяет? для тихо курлыкающего каплуна Русанова!

Итак, весь Петербург взволнован — взволнован чем? — будущими судьбами девицы Инны Горобец! Как хотите, а это явление любопытное...